

Об истине и лжи
во вненравственном смысле

Ницше, Фридрих.

Полное собрание сочинений: В 13 томах / Ин-т философии. – М.: Культурная революция, 2005 – Т. 1/2: Несвоевременные размышления. Из наследия 1872–1873 гг. / Пер. с нем. В. Бакусева, В. Неужиной, И. Эбаноидзе и др.; общ. ред. И.А. Эбаноидзе. – 2013. – 480 с. – С.433-448

В некоем отдаленном уголке вселенной, разлитой в блестящих бесчисленных солнечных систем, была когда-то звезда, на которой умные животные изобрели познание. Это было самое высокомерное и лживое мгновение «мировой истории»: но все же лишь одно мгновение. После этого природа еще немножко подышала, затем звезда застыла, и разумные животные должны были умереть. Такую притчу можно было бы придумать, и все-таки она еще недостаточно иллюстрировала бы нам, каким жалким, призрачным и мимолетным, каким бесцельным и произвольным исключением из всей природы является наш интеллект. Были целые вечности, в течение которых его не было; и когда он снова окончит свое существование, итог будет равен нулю. Ибо у этого интеллекта нет никакого назначения, выходящего за пределы человеческой жизни. Нет, он принадлежит всецело человеку, и только его обладатель и изобретатель так горячо и с таким пафосом относится к нему, как будто бы на нем вращались оси мира. Но если бы мы могли объясниться с комаром, мы поняли бы, что он с таким же пафосом парит в воздухе и чувствует в себе летучий центр этого мира. В природе нет ничего настолько отверженного и незначительного, что бы не могло при малейшем дыхании этой силы познания тотчас же раздуться подобно мехам; и подобно тому, как всякий человек, поднимающий тяжесть, хочет, чтобы на него дивились, так и самый гордый из людей, философ, думает, что на его поступки и мысли направлены взоры всей вселенной, со всех ее отдаленных концов.

Замечательно, что все это делает интеллект, тот самый интеллект, который ведь дан только как помощь самым несчастным, самым деликатным и тленным существам для того, чтобы на минуту удержать их в этой жизни, из которой они без него имели бы полное основание бежать

подобно тому сыну Лессинга. Итак, это высокомерие, связанное со способностью познавать и чувствовать, набрасывая на глаза и чувства человека густой, ослепляющий туман, обманывает себя относительно ценности всего существования тем, что оно носит в себе в высшей степени льстивую оценку самого познания. Весь итог его деятельности – обман, но и отдельные его проявления имеют в большей или меньшей степени тот же характер.

Интеллект, как средство для сохранения индивида, развивает свои главные силы в притворстве; ибо благодаря ему сохраняются более слабые и беззащитные особи, которые не могут отстаивать себя в борьбе за существование с помощью рогов или зубов. У человека это искусство притворяться достигает своей вершины: здесь обман, лесть, ложь, тайное злословие, поза, жизнь, полная заемного блеска, привычка маскироваться, условность, разыгрывание комедий перед другими и перед собой, – короче, постоянное порхание вокруг пламени тщеславия – являются настолько и правилом и законом, что нет ничего более непонятного как то, каким образом среди людей могло возникнуть честное и чистое стремление к истине. Они погружены в иллюзии и сновидения, глаза их только скользят по поверхности вещей и видят лишь «формы», их ощущения никогда не дают истины, но довольствуются тем, что испытывают раздражение и играют на ощупь за спиной вещей. К тому же человек всю жизнь по ночам поддается обманам снов, и его нравственное чувство нисколько не протестует против этого; между тем как есть люди, которые благодаря усилиям воли отучились от храпения. Что собственно знает человек о самом себе? Мог ли бы он хоть раз в жизни воспринять самого себя, как если бы он вложен в освещенный стеклянный ящик? Разве не умалчивает от него природа почти все, даже о его теле – извороты кишок, быстроту кровообращения, сплетение волокон, – для того, чтобы загнать его в область гордого обманчивого сознания и запереть его в ней! Она выбросила ключ; и горе роковому любопытству, которое через щелку в стене сознания ухитрилось бы выглянуть из него наружу и вниз, и узнало бы, что человек в безразличии своего неведения покоится на безжалостном, алчном, ненасытном, убийственном, словно бы повиснув

во сне на спине у тигра. Откуда же, при таком устройстве человека, стремление к истине!

Поскольку индивид хочет удержаться среди других индивидов, он при естественном положении вещей пользуется своим интеллектом только для притворства: но так как человек из-за нужды и скуки хочет существовать в стаде, то он нуждается в мирном договоре и рассуждает поэтому, что из его мира должно исчезнуть по крайней мере самое brutальное – *bellum omnium contra omnes*¹. Этот мирный договор приносит с собой нечто, что кажется первым шагом в этом загадочном стремлении к истине. Теперь именно определяется то, что отныне должно быть «истиной», избрывается одинаково употребляющееся и обязательное обозначение вещей, а законодательство языка дает и первые законы истины: ибо теперь впервые возникает противоположность истины и лжи. Лжец употребляет ходячие обозначения и слова для того, чтобы заставить недействительное казаться действительным; например, он говорит «я богат», между тем как единственно верным обозначением его состояния было бы слово «беден». Он злоупотребляет тем, что установлено, изменяя и искажая имена. Если он делает это в видах своей пользы и принося этим вред другим, общество перестает ему верить и этим исключает его из своего состава. При этом люди не так избегают обмана, как вреда, приносимого им; и на этой ступени они ненавидят не обман, а дурные, вредные последствия известных родов обмана. В подобном же ограниченном смысле человек хочет и истины: он хочет ее приятных последствий; к чистому познанию, не имеющему последствий, он относится равнодушно, к некоторым же истинам, которые ему кажутся неприятными и разрушительными, – даже враждебно. К тому же: как обстоит дело с теми условностями языка? Являются ли они результатами познания и чувства истины? Соответствуют ли обозначения вещам? Является ли язык адекватным выражением реальности?

Только по забывчивости человек может утешать себя иллюзией, что он обладает истиной именно в такой степени. Если он не захочет довольствоваться истиной в форме

¹ война всех против всех (*лат.*).

тавтологии, то есть одной пустой шелухой, – он вечно будет принимать за истину иллюзии. Что такое слово? Передача звуками первого раздражения. Но делать заключение от раздражения нервов к причине, лежащей вне нас, есть уже результат ложного и недопустимого применения положения об основании. Если бы решающим условием при происхождении языка была только истина, а выбирая обозначения предметов, люди руководствовались бы только достоверностью, – то каким образом мы могли бы говорить: «камень тверд», как будто слово «тверд» обозначает нечто абсолютное, а не наше совершенно субъективное ощущение! Мы разделяем предметы по родам, «куст» у нас мужского рода, «лоза» – женского: совершенно произвольные обозначения! Как далеко мы вышли за канон достоверности! Словом *Schlange* мы обозначаем змею: это обозначение указывает только на ее способность завиваться и, следовательно, оно годится и для червя. Как произвольны ограничения и как односторонни предпочтения, которые мы даем при этом то тому, то другому свойству вещи! Если сравнить различные языки, то видно, что слова никогда не соответствуют истине и не дают ее адекватного выражения: иначе не было бы многих языков. «Вещь сама по себе» (ею была бы именно чистая, не имеющая последствий истина) совершенно недостижима также и для творца языка и в его глазах совершенно не заслуживает того, чтобы ее искать. Он обозначает только отношения вещей к людям и для выражения их пользуется самыми смелыми метафорами. Возбуждение нерва становится изображением! Первая метафора. Изображение становится звуком! Вторая метафора. И каждый раз полный прыжок в совершенно иную и чуждую область. Представьте себе совершенно глухого человека, который никогда не имел ощущения звука и музыки: подобно тому как он, удивляясь звуковым фигурам Хладни на песке, находит их причину в дрожании струны и готов поклясться, будто теперь он знает, что люди называют «тоном» – так же и мы все судим о языке. Мы думаем, что знаем кое-что о самих вещах, когда говорим о деревьях, красках, снеге и цветах; на самом же деле мы обладаем лишь метафорами вещей, которые совершенно не соответствуют их первоначальным сущностям. Подобно тому, как тон кажется глу-

хому фигурой на песке, так и нам загадочное X вещей кажется то возбуждением нерва, то изображением, то, наконец, звуком. Таким образом, логика отсутствует при возникновении языка, и весь материал, над которым работает и из которого создает свои построения человек истины, исследователь и философ, происходит если не из Тучекуеуска, то все же и не из сущности вещей.

Подумаем еще особенно об образовании понятий. Каждое слово тотчас становится понятием за счет того, что оно должно служить напоминанием не о единичном полностью индивидуализированном переживании, которое его породило, а приравнивается одновременно к бесчисленному количеству случаев, более или менее сходных, т.е., строго говоря, не равных другу. Каждое понятие возникает из сравнения неравного. И как верно то, что один лист никогда не одинаков совершенно с другим, так и понятие «лист» образовано благодаря произвольному опущению этих индивидуальных различий, благодаря забвению того, что их различает; так-то получается представление, будто бы в природе, кроме листьев, есть еще – «лист», служащий их первообразом, по образцу которого сотканы, нарисованы, размерены, раскрашены и завиты все листья, но это сделано неловкими руками, так что ни один экземпляр не может считаться верным отражением этого первообраза. Мы называем человека «честным»; почему он сегодня поступил честно? спрашиваем мы. И наш ответ гласит: благодаря своей честности. Честность! Снова то же самое: лист есть причина листьев. Мы не знаем совершенно ничего об основном качестве, которое называлось бы «честностью», но лишь о многочисленных индивидуальных и вместе с тем неодинаковых поступках, которые мы сопоставляем, не обращая внимания на их различие, и называем честными поступками; наконец, из них мы заключаем об одной *qualitas occulta*¹ по имени «честность».

Упущение индивидуального и действительного дает нам понятие и форму, природа же не знает ни понятий, ни форм, ни родов, но только одно недостижимое для нас и неопределимое X. Ибо и наше противоположение рода и

1 тайное свойство (лат.).

особи антропоморфно и происходит не из сущности вещей, – если мы даже и не решимся сказать, что оно ей не соответствует – ведь это было бы догматическим утверждением, таким же недоказуемым, как и его противоположность.

Итак, что такое истина? Движущаяся толпа метафор, метонимий, антропоморфизмов, – короче, сумма человеческих отношений, которые были возвышены, перенесены и украшены поэзией и риторикой и после долгого употребления кажутся людям каноническими и обязательными: истины – иллюзии, о которых позабыли, что они таковы; метафоры, которые уже истрепались и стали чувственно бессильными; монеты, на которых стерлось изображение и на которые уже смотрят не как на монеты, а как на металл. Мы все еще не знаем, откуда происходит стремление к истине: ибо до сих пор мы слышали лишь об обязательстве, которое нам ставит общество – как залог своего существования, – обязательстве быть правдивыми, т.е. употреблять обычные метафоры, или, выражаясь морально, об обязательстве лгать согласно принятой условности, лгать стадно в одном для всех обязательном стиле. Правда, человек забывает об этом; он лжет означенным образом неосознанно и по многовековому обыкновению – и как раз *благодаря этой неосознанности* и этому забвению приходит к чувству истины. Из чувства обязанности называть одну вещь «красной», другую «холодной», третью «немой» возникает моральное побуждение к истине: наблюдая лжеца, которому никто не верит, которого все сторонятся, человек делает заключение о том, что истина свята, полезна и пользуется доверием. Теперь он подчиняет свои поступки как *разумное* существо господству абстракций; он больше не позволяет себе увлекаться внезапными впечатлениями и наблюдениями, он обобщает сначала эти впечатления, делая их бесцветными и холодными понятиями, для того чтобы привязать к ним челнок своей жизни и своих поступков. Все, что отличает человека от животного, зависит от этой его способности делать из наглядных метафор сухую схему, из картины – понятие. В царстве этих схем возможно то, что никогда не удалось бы среди непосредственных впечатлений – построить пирамиду каст и степеней, создать новый мир законов, привилегий, подчинений и ограничений, кото-

рый соперничает с видимым миром непосредственных впечатлений, являясь более прочным, общим, более знакомым и более человеческим и поэтому – правящим и повелевающим. Между тем как всякая наглядная метафора индивидуальна и не имеет себе подобной и не поддается поэтому никакой классификации, огромное здание понятий демонстрирует неподвижную правильность римского колумбария и в своей логичности дышит той строгостью и холодом, которые особенно свойственны математике. На кого подул этот холод, тот вряд ли поверит тому, что понятие, сухое и восьмиугольное, как игральная кость, и такое же передвижное, как она, все же является лишь *остатком метафоры*, и что иллюзия художественного перенесения нервного возбуждения в изображение есть если не мать, то бабушка всякого понятия. В этой игре в кости-понятия «истиной» называется употреблять каждую кость так, как ей определено, правильно считать ее очки, образовывать правильные рубрики и никогда не выходить за пределы кастового порядка и последовательности рангов. Подобно тому, как римляне и этруски разделили все небо четкими математическими линиями и в каждом таком ограниченном пространстве, как в *templum*¹, поместили одного бога; точно так же и каждый народ имеет над своей головой такое же математически разделенное небо понятий и считает требованием истины, чтобы каждого бога-понятие искали в *его* сфере. Можно только удивляться зодческому гению человека, которому на подвижных фундаментах, точно на поверхности текучей воды, удастся воздвигнуть бесконечно сложное здание понятий. Конечно, для того, чтобы удержаться на таком фундаменте, его постройка должна быть подобна сплетениям паутины, – такой нежной, чтобы ее могла нести на себе волна, такой прочной, чтобы ее не сдуло ветром. Как гений зодчества человек стоит много выше пчелы: она строит из воска, который она находит в природе, он – из гораздо более нежного вещества понятий, которое он прежде должен создать из самого себя. В этом он достоин большого удивления, – но только не в своем стремлении к истине, к чистому познанию вещей. Если кто-нибудь

1 храм (лат.).

прячет вещь за кустом, ищет ее именно там и находит, то в этом искании и нахождении нет ничего особенно достойного прославления: но именно так обстоит дело с поисками и нахождением «истины» внутри области разума. Если я даю определение млекопитающего и затем, рассмотрев верблюда, говорю: «вот млекопитающее» – то эти слова хотя и высказывают истину, но истину не слишком большой ценности; мне кажется, что она совершенно антропоморфна и не имеет в себе ни одного пункта, который действительно и общезначимо, безотносительно к человеку, был бы «истинным сам по себе». Исследователь таких истин ищет в сущности только метаморфозы мира в людях, он добивается понимания мира как человекоподобной вещи и в лучшем случае добывает чувство ассимиляции. Подобно тому, как астролог считал, что звезды состоят на службе у людей и находятся в связи с их счастьем и страданием, так и этот исследователь считает, что весь мир привязан к людям, что он – бесконечно преломленный отзвук одного первозвука – человека, что он – умноженный отпечаток одного первообраза – человека. Все его искусство в том, чтобы считать человека мерой всех вещей; при этом он все-таки исходит из ошибки, поскольку верит в то, что эти вещи находятся перед ним непосредственно, как чистые объекты. Таким образом он забывает, что первоначальные наглядные метафоры – лишь метафоры, и принимает их за сами вещи.

Только благодаря тому, что человек забывает этот первоначальный мир метафор, только благодаря отвердению и застыванию изначально струившейся расплавленным потоком из первобытного богатства человеческой фантазии массы образов, только благодаря непобедимой вере в то, что *это* солнце, *это* окно, этот стол есть истина сама по себе, короче, только потому, что человек забывает, что он – субъект, и притом *художественно создающий* субъект, он живет в некотором спокойствии, уверенности и последовательности; если бы он на мгновение мог выйти из стен тюрьмы, в которую его заключила эта вера, тотчас бы пропало его «самосознание». Ему стоит уже большого труда представить себе, каким образом насекомое или птица воспринимают совсем другой мир, чем человек, и что вопрос, которое из двух восприятий более правильно, лишен всякого смысла, так как

для этого пришлось бы мерить масштабом *правильного восприятия*, то есть масштабом *несуществующим*. Вообще же «правильное восприятие», т.е. адекватное выражение объекта в субъекте, кажется мне противоречием и нелепостью, ибо между двумя абсолютно различными сферами, каковы субъект и объект, не существует ни причинности, ни правильности, ни выражения, самое большее – *эстетическое* отношение, т.е. своего рода передача намеками, как при сбивчивом переводе на совсем чужой язык: но для этого нужна, во всяком случае, посредствующая сфера и посредствующая сила, свободно сочиняющая и свободно изобретающая. Слово «явление» заключает в себе много соблазнов, поэтому я его по возможности избегаю: ибо сущность вещей не «является» в эмпирическом мире. Художник, у которого нет рук и который хотел бы выразить пением носящийся перед ним образ, при этой перемене сфер все же обнаружит больше, нежели то, что открывает о сущности вещей эмпирический мир. Даже отношение раздражения нерва к возникшему образу вовсе не является чем-то совершенно необходимым; но если один и тот же образ возникал миллионы раз и перешел по наследству через много поколений и наконец является всякий раз у всего человечества как следствие одной и той же причины, то людям в итоге кажется, будто это – единственно необходимый образ и что отношение первоначального возбуждения нерва к возникшему образу есть отношение строгой причинности; так же как и сон, вечно повторяясь, стал бы ощущаться нами как истина. Но отвердение и застывание какой-нибудь метафоры еще не заключает в себе ничего, что объяснило бы необходимость и исключительное право этой метафоры.

Конечно, каждый человек, который привык к таким размышлениям, испытывал глубокое недоверие к подобному идеализму в той мере, в какой он ясно убеждался в вечной последовательности, вездесущности и непогрешимости законов природы. Он сделал следующий вывод: все в этом мире, насколько мы только можем охватить в вышину с помощью телескопа и в глубину с помощью микроскопа, прочно, выстроено, бесконечно, закономерно и беспробельно; наука будет вечно с пользой работать в этих копиях и все найденное ею будет в согласовании, а не в противоречии

между собой. Как мало это походит на создание фантазии: ибо будь оно таковым, что-нибудь выдавало бы в нем кажимость и нереальность. Против этого надо сказать, во-первых: если бы каждый из нас имел различное ощущение, если бы мы сами воспринимали мир то как птицы, то как черви, то как растения, или если бы одному из нас одно и то же раздражение нерва казалось бы красным, другому – синим, а третьему – даже музыкальным тоном, – то никто не говорил бы о такой законосообразности природы, но все считали бы ее в высшей степени субъективной картиной. Далее, что же такое для нас закон природы? Он не известен нам сам по себе, а лишь по его действиям, то есть в его отношениях к другим законам природы, которые и сами известны нам только как суммы и отношения. Таким образом, все эти отношения ссылаются одно на другое и в самом своем существовании совершенно непонятны нам: нам действительно известно только то, что мы привносим к ним – время и пространство, т.е. отношения последовательности и числа. Все же удивительное, что мы усматриваем в законах природы, что требует нашего объяснения и могло бы вселить в нас недоверие к идеализму – лежит исключительно в математической строгости и нерушимости представлений времени и пространства. Их же мы производим в себе и из себя, как паук свою паутину; если мы принуждены понимать все вещи только в этих формах, то уже более не удивительно, что мы во всех вещах понимаем только именно эти формы: ибо все они должны заключать в себе законы числа, а число есть самое удивительное в вещах. Вся та закономерность, которая так импонирует нам в движении звезд и в химических процессах, собственно совпадает с теми качествами, которые мы сами привносим в вещи, так что этим мы импонируем самим себе. При этом, разумеется, оказывается, что то художественное образование метафор, с которого у нас начинается каждое ощущение, уже предполагает те формы и, стало быть, в них совершается; только полной затверделостью этих первичных форм объясняется возможность, каким образом впоследствии из метафор может быть воздвигнуто само здание понятий. Последнее является собственно подражанием отношениям времени, пространства и чисел на почве метафор.

В строении понятий, как мы видели, первоначально работает *язык*, позднее – *наука*. Подобно тому, как пчела одновременно делает соты и наполняет их медом, так же и наука безостановочно работает в великом колумбарии понятий, в котором погребены воззрения, строит все время новые этажи вверх, укрепляет, чистит и подновляет старые ячейки, и стремится прежде всего наполнить это необъятное строение и уместить в него весь эмпирический, т.е. антропоморфный мир. Если даже человек дела привязывает свою жизнь к разуму и его понятиям, для того чтобы не быть снесенным с места и не потерять себя самого, то исследователь строит свою хижину у самой башни науки, чтобы и самому участвовать в ее перестройке и найти себе в ней оплот. А этот оплот ему очень нужен: ибо есть ужасные силы, которые постоянно враждебно наступают на него, противопоставляя научной «истине» истины совсем иного рода, с различными изображениями на их щитах.

Это побуждение к образованию метафор, это основное побуждение человека (которое ни на минуту нельзя сбрасывать со счетов, ибо тем самым мы сбрасывали бы со счетов самого человека) на самом деле вовсе не побеждено и едва ли обуздано тем, что из его эфемерных созданий – понятий – мы выстроили новый, оконеченый мир, как тюрьму для него. Оно ищет для себя нового царства и другого русла и находит его в мифе и вообще в искусстве. Оно постоянно перепутывает рубрики и ячейки понятий, выставляя новые перенесения, метафоры, метонимии, постоянно обнаруживает стремление изобразить видимый мир бодрствующих людей таким пестро-неправильным, беспоследственно-бессвязным, увлекательным и вечно новым, как мир сна. Сам по себе бодрствующий человек лишь благодаря прочной и правильной паутине понятий уверен в том, что бодрствует, и именно потому иногда думает, что спит, если искусству вдруг удастся разорвать эту паутину. Паскаль прав, утверждая, что если бы мы видели каждую ночь один и тот же сон, мы занимались бы им точно так же, как вещами, которые видим ежедневно: «Если бы ремесленник был уверен, что он каждую ночь сплошь двенадцать часов будет

видеть во сне, будто он царь, то, думаю, – говорит Паскаль, – он был бы так же счастлив, как царь, который каждую ночь двенадцать часов кряду видел бы во сне себя ремесленником». День такого мифически возбужденного народа, каким были древнейшие греки, благодаря постоянно действующим в нем чудесам, допускаемым мифами, на деле гораздо больше похож на сон, чем на день мыслителя, отрезвленного наукой. Если дерево может говорить, как нимфа, или если бог в оболочке быка может похищать дев, если внезапно становится видимой сама богиня Афина, когда она в роскошной колеснице проехала вместе с Писистратом через площади Афин, – а всему этому верил честный афинянин, – то в каждое мгновение, как во сне, возможно все, и вся природа носится вокруг человека, как будто бы она была маскарадом богов, которые забавляются тем, что обманывают человека, являясь ему в разных образах.

Но и сам человек имеет непреодолимую склонность поддаваться обманам и бывает словно очарован счастьем, когда рапсод рассказывает ему эпические сказки, как истину, или когда актер в трагедии изображает царя еще более царственным, чем его показывает действительность. Интеллект, этот мастер притворства, до тех пор свободен и уволен от своей рабской службы, пока он может обманывать, не причиняя вреда; и тогда-то он празднует свои сатурналии. Никогда он не бывает более пышным, богатым, гордым и смелым: с наслаждением творца он бросает в беспорядке метафоры, сдвигает с места пограничные столбы абстракций: называя, например, реку подвижной дорогой, которая несет человека туда, куда он в других случаях идет. Теперь он сбросил с себя клеймо рабства: прежде с печальной деловитостью он усердно показывал дорогу и орудия бедному индивиду, жаждущему существования, и, как слуга для господина, выходил для него на грабеж за добычей; теперь он стал господином и может смело стереть выражение нужды со своего лица. Что бы он теперь ни делал, все по сравнению с его прежней деятельностью несет на себе следы притворства, меж тем как все прежнее – следы искажения. Он копирует человеческую жизнь, но считает ее хорошей вещью и, по-видимому, совершенно доволен ею. То огромное строение понятий, на котором, цепляясь, спасается

нуждающийся человек в течение своей жизни, служит для него лишь помостом или игрушкой для его смелых затей: и если он ее ломает и разбрасывает обломки, иронически собирает их вновь, соединяя по парам наиболее чуждое и разделяя наиболее родственное, то этим он показывает, что не пользуется крайними средствами нужды, и что им руководят не понятия, а интуиции. Из царства этих интуиций нет проторенной дороги в страну призрачных схем, абстракций: для них не создано слова, – человек немеет, когда их видит или говорит сплошь запрещенными метафорами и неслыханными соединениями понятий, дабы соответствовать впечатлению охватившей его могучей интуиции по меньшей мере через разрушение прежних понятийных границ и их высмеивание.

Бывают времена, когда разумный человек и человек интуитивно мыслящий стоят друг возле друга – один в страхе перед интуицией, другой с насмешкой над абстракцией; последний настолько же неразумен, насколько первый нехудожествен. Оба хотят господствовать над жизнью: первый умеет встречать главнейшие нужды предусмотрительностью, разумностью, планомерностью, второй, как «разудалый герой», не видит этих нужд и считает реальною лишь прикинувшуюся красотой жизнь и ею создаваемую видимость. Там, где, как в древней Греции, человек интуиции сражается лучше и победоноснее, чем его противник, там в счастливом случае может образоваться культура и господство искусства над жизнью: подмена, отрицание необходимости, блеск метафорических наблюдений и вообще непосредственность обмана сопровождает все проявления такой жизни. Ни дом, ни поступь, ни одежда, ни глиняный сосуд не указывают на то, чтобы они были изобретены нуждой: кажется, будто во всем этом выражается возвышенное счастье, олимпийская безоблачность и игра с серьезностью. В то время как человек, руководимый понятиями и абстракциями, благодаря им лишь отбивается от несчастья и не извлекает из них счастья; в то время как он ищет хоть какой-нибудь свободы от боли, человек интуиции, стоя в центре культуры, пожинает уже со своих интуиций, кроме защиты от зла, постоянно струящийся свет, радость, утешение. Конечно, он страдает сильнее, *если* только он страдает: да, он

страдает даже чаще, потому что не умеет учиться у опыта и всегда попадает в ту же яму, в которую уже попадал раньше. И тогда, в страдании, он бывает таким же неразумным, как в счастье: он громко кричит и ничем не утешается. Как не похоже на него поступает в таком же несчастье человек-стоик, выучившийся на опыте и господствующий над собой с помощью понятий! Он, который в других случаях ищет лишь честности, истины, свободы от обманов и защиты от обольщающих призраков, теперь, в несчастье, доказывает свое мастерство в притворстве, как тот доказывает его в счастье; его лицо, не подвижное и переменчивое лицо человека, – это маска с достойною правильностью черт; он не кричит и никогда не изменяет своего голоса: если над его головой разверзается грозная туча, он завертывается в свой плащ и медленными шагами продолжает идти под дождем.

Комментарии

Об истине и лжи во внеэтическом смысле

Это сочинение было написано летом 1873 г.

1. *В некоем ... умереть.* – Ср.: «О пафосе истины» (ПСС 1/1). сыну Лессинга. – См. письма Лессинга Й. Эшенбургу от 31 декабря 1777 и Карлу Лессингу от 5 января 1778 г.
звуковым ... Хладни – Ряд научных работ немецкого физика Эрнста Хладни (1756–1827) был посвящен акустике. Посыпая пластины песком и заставляя их колебаться, исследовал вид фигур («фигуры Хладни»), образованных частицами песка, и их связь с режимом колебаний.
Тучекуевска – Название города, основанного птицами в комедии Аристофана «Птицы». (Откуда ж имя взять? // – Из горной области, // Из облаков, из туч, да повоздушнее, // Помягче. // – Назовем Тучекуевском?)
на почве метафор. – Продолжение в черновике: *Пространство без содержания, время без содержания – вполне возможные представления; всякое понятие, то есть метафора без содержания, есть подражание этим первым представлениям. Время, пространство и причинность, далее первобытная фантазия переноса в образы: первое дает материю, второе – качества, в которые мы верим. Сравнение музыки. Как возможно говорить о ней?*
2. *... под дождем.* – набросок продолжения: *Обоим безразлична истина, не имеющая последствий; философ кажется удивительным. Философ как ненормальность. Отсюда – одинокий странник. То есть по сути случайность среди своего народа? И там, где он обращается против культуры, это разрушительно. Указать, что греческие философы неслучайно оказались греческими.*